



МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

ЛЕОНИД ЕЩИН

**СОБРАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ**



Водолей Publishers
Москва – 2005

ББК 84P7-5
Е97

Редакционная коллегия серии:

Р. Берд,
Н. А. Богомолов,
Е. В. Витковский (*председатель*),
С. Гардзонио,
М. Л. Гаспаров,
Г. Г. Глинка,
О. А. Лекманов,
В. П. Нечаев,
В. А. Резвый,
В. А. Синкевич,
Р. Д. Тименчик,
Л. М. Турчинский

Составление и послесловие *Евгения Витковского*
Редактор *Владислав Резвый*

ISBN 5-902312-47-7

© Е. В. Витковский, составление,
послесловие, 2005

© Водолей Publishers, 2005

СТИХИ ТАЕЖНОГО ПОХОДА

(Владивосток, 1921)

ЗИМА, ГДЕ КРОВЬ.

ЗИМА, БЕЗ КРОВА.

«СТИХИ ТАЕЖНОГО ПОХОДА»

I

Скрипя ползли обозы — черви.
Одеты грязно и пестро,
Мы шли тогда из дебрей в дебри
И руки грели у костров.

Тела людей и коней павших
Нам окаймляли путь в горах.
Мы шли, дорог не разузнавши,
И стыли ноги в стремянах.

Тянулись дни бесцельной пыткой
Для тех, кто мог сидеть в седле,
И путь по трупам незарытым
Хлестал по нервам, словно плетъ.

Глазам в бреду бессонной муки
Упорно виделись в лесу
Между ветвями чьи-то руки,
В крови прибитые к кресту.

Январь 1920 года

II. ИЖЕВЦЫ ОТХОДЯТ

Из рати братий с Урала мало
В Сибири шири плелось устало.
Отсталых в поле враги ловили;
В погоне кони все в мыле были.

В метелей мели зудел мороз.
Мы шли и пели о море роз,
В бураны раны вдвойне горели,
И с кровью в горле мы шли и пели.

Мы этой кровью добудем счастье;
Велите все вы, кто будет властью,
В победе меди унять немножко
И вспомнить пенье под звук гармошки.

Под бабьи визги в обозе с горя
Ижевцы пели: «Да как на взмо-о-рье...»

Декабрь 1919 года

III

На западе розовом, как детство,
Догорая, заря стояла.
Пытаюсь согреться:
Кутаюсь в одеяло.

Бегут кони...
Всё равно сдохнут.
На этом-то перегоне
Их как бы не грохнуть...

Над тайгою
От холода вою,
Как волк воет, когда за пищей,
Голодный и нищий
По заимкам хвост тощий
Тащит, рыща.

Прем к Востоку —
Бог помочь!
Что проку
Защищать сволочь,
Которая рада
Что ни награть:
Вагонов ли двадцать,
Аршин ли ситцу?
Эх, в тайге б остаться
Да бить лисицу.

Темно стало,
Где зори стояли...
Толку ма-а-ло
В этаким одеяле...

Январь 1920 года

IV

Конец заснеженных полей
Закат покрасил красным.
Где было небо потемней,
Луна торчала праздно.
Мы шагом шли, щадя коней,
И небо было ясно.
Мороз забьет еще сильнее,
Когда заря погаснет.

Я бросил повод и не гнал коня.
Как далеко театр, как далеки столицы.
И с каждым днем всё дальше от меня
Их отделяют версты вереницей.
А всё кругом мертво, всё те же, те же лица...
Я бросил повод и не гнал коня...

V. ЗАРЕВО

Как язвой, заревом запад застлан,
А небо стало угрюмо-сизым;
Занозой месяц заткнулся снизу
Напротив места, где солнце гасло.

Пейзаж пронизан угарным дымом.
Горят деревни, с морозом споря;
Ведь край суровый, залитый горем,
Забыт стал ныне Отцом и Сыном.

Согреть мороза пожар не может;
Зима, как раньше, люта и грозна,
Замерзнет много из нас бесслезно
В тайге сегодня, в окопе лежа.

От стужи ежась в пади у прясла,
Смотрю, как заревом запад застлан.

VI. ТАЕЖНАЯ ПОНУЖАТЕЛЬНИЦА

М-те К.

Когда мы шли глухой тайгой
И кровь примерзла к синим жилам,
Ее болезненный покой
Вы оживили своим видом;

Так элегантен выбор поз
И так эффектно смелость взора,
Что я признал творцом узора
Глоточек спирта иль наркоз.

Я знаю сам, что вы пуста,
Как бонбоньер в витрине Мюра,
Но ваша плотная фигура
В седле английском так легка!..

Жар, вами брошенный, застынет,
Как бриллиант, что влит в кольцо.
Я вам готов простить за то
Наивульгарнейшее имя,
Наипошлейшее лицо...

VII. ВРОДЕ ТАНКИ

Что нам до статуй и их изгибов,
До роз и тюльпанов на празднике мая:
В спирте с водою прополоскать мозги бы,
Когда их больно тоска сжимает!

Январь 1920 года

VIII. ПРАЗДНИК

За счастье любимых пили,
Смешавши со спиртом снег,
И был мороз не в силе
Сковать всепобедный смех.

В трещанье костров меж сосен
Звенел о надеждах гимн,
О счастье грядущих вёсен,
Где будет любой любим.

– Пустяк, что зима сурова,
Пустяк, что в тайге ночлег;
Легко обойтись без крова,
Если в спирте растает снег!

– Враги! Морозы! Голод!
Мы стали сильней вас всех:
Вам слышно, как, пьян и молод,
Дрожит над кострами смех?!

«ВРЕМЕН БЕЗВРЕМЕННОГО ГОДА»

IX. ВЕСНА БЕЗ РАДОСТИ

Опять безрадостная Пасха
И безлюбовная весна!
Гримаса маски — Пасхи сказка
Для тех, кому весна пресна.
А нам весна и солнца ласка,
Весна для нас без грез, без сна;
Дорога наша к этой Пасхе —
Дорога — лента красной краски —
Была достаточно красна.

Тайгой, Алтаем и Саяном,
Как рана, каждая верста;
Купаться в зареве багряном
Нам никогда не перестать...
Не с нашим сердцем деревянным
Рыдать о прошлом покаянно
И лицемерить у креста!
Напрасно ищем мы — их нет здесь,
Кому б рукою стан обвить:
За обещанных возмездье —
Весна, лишенная любви.

Пасха 1920 года

Х. ТРАУРНЫЙ ВАЛЬС

Этот вальс не волнует, как прежде,
И, быть может, я слишком суров
С этой девушкой в снежной одежде
Из душистых, шуршащих шелков.
Ей так хочется плавного танца
И на талии сильной руки,
Но (вы помните?) вешние стансы
От желаний ее далеки.
— О, поймите, случайная дама,
Что я в танцах для вас не партнер,
Что одна вековечная драма
Разгорается, словно костер:
Дождаться неведомой радости,
Дождаться... и ждать без конца!..
О, скажите мне, может ли в ад вести
Путь в сиянии терний венца?..

Апрель 1920 года

ХІ. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ПОХОД

Средь сосен сонных сонными снимаемся с бивака
Под дрожь жестокой осени в нависших облаках.
Дорога льется волнами — вонючая клоака —
В лесу, в лугах и в озими — неистово плоха,
Но сопки серо-синие смеяться не посмеют
Над нашими солдатами, ползущими в грязи:

Извилистою линией идут они за теми,
Кто раньше были братьями и кто теперь враги.
...А кости старой падали надежно огорожены
Поскотиной дырявою, налегшей на сосну.
Ах, черт возьми, да надо ли, чтоб были мы
зброшены
На жизнь распрокорявую в поганую страну!.

Июль 1920 года

ХИ. СЛУЧАЙ В ПОХОДЕ

Из-за пазухи сереньких сопок
Показалось солнце, смеясь.
Мы, спустившись с высоких откосов,
Поползли через липкую грязь.
Мне казалось обидным, что солнце
Не ползет вместе с нами в рядах,
Я тогда из винтовки японской
Взял по солнышку пулей: бабах!
У меня отобрали винтовку,
Тумаком охладивши мой пыл,
И мне было ужасно неловко,
Что фельдфебель мне морду набил.
Помешали мне, сволочи: жаль им
Пристрелить комиссара небес;
А потом про меня рассуждали:
— Где успел насосаться, подлец?

XIII. ОСЕНЬ БЕЗ СКОРБИ

Синяя осень. Осень без скорби.
Осень из хвойных, тяжелых тонов.
Взором бесскорбным из хвои узор пить —
Нам, хладнокровным, лишь это дано.

Осень бесскорбная... Синяя осень.
Небо спокойное нам не тесно,
Скорби у Господа разве попросим
Мерзлой душой, не увидевшей снов?

Просьба о скорби без просьбы о радости?
Нет, мы для этого слишком честны.
Если мы сгинем, то сгинем без страсти.
Осени нет тем, кто был без весны...

Октябрь 1920 года

XIV. ЗИМА БЕЗ КРОВА

В окаменение старой стужи
Приходит новая зима.
Чем больше зим, тем стуже, хуже,
Тем тяжелее мозг недужный,
Ненужный, хуже жизнь сама.

И после осени без скорби,
Перед безрадужной весной

Зима упорно душу горбит,
Когда идем, окончив бой,
В путь без пути немой тайгой.

Мы равнодушны стали к смерти
И без убийств не знаем дня.
Всё меньше нас в снегу путь чертит
И у костров вонзает вертел
В кусок убитого коня.

Под пулеметный рокот дробный
Проходят годы, как века,
И чужды всем, одни, безродны,
Идем мы памятник надгробный
Былой России высекать...

XV. ГОД В ПОХОДЕ **(Двадцатый год)**

Двадцатый год со счетов сброшен,
Ушел, изломанный, в века...
С трудом был нами он изношен:
Ведь ноша крови нелегка.

Угрюмый год в тайге был зачат.
Его январь – промерзший Кан,
И на Байкальском льду истрачен
Февраль под знаком партизан.

А дальше март под злобный ропот,
Шипевший сталью, что ни бой.
Кто сосчитает в сопках тропы,
Где трупы павших под Читой?

Тот март теряется в апреле,
Как Шилка прячется в Амур.
Лучи весны не нас согрели,
Апрель для нас был черств и хмур...

Мешая отдыхи с походом,
Мы бремя лета волокли,
Без хлеба шли по хлебным всходам,
Вбивая в пажить каблуки.

Потом бессолнечную осень
Безумных пьянств прошила нить...
О, почему никто не спросит,
Что мы хотели спиртом смыть?

Ведь мы залить тоску пытались,
Тоску по дому и родным,
И тягу в солнечные дали,
Которых скрыл огонь и дым.

В боях прошел октябрь-предатель,
Ноябрь был кровью обагрен,
И путь в степи по трупам братьев
Был перерезан декабрем.

За этот год пропала вера,
Что будет красочной заря.
Стоим мы, мертвенны и серы,
У новой грани января.

MORITURI

I. ДО-ДИЕЗ

Я принужден чужой жестокостью
Прожить всю жизнь в единый день
И быть убитым, как слепень,
Как безнадежно бьются стекла
В пожарном стоне деревень.

Из жизни вырезанной юности
Не заменить любовью к ближним.
Не я, поверив строкам книжным,
Любовь и мир пойду нести.

А вот куда ходят ноги
И голова еще ясна,
Я выпью жизнь хоть не до дна,
Но всё же — очень-очень много.

Меня не смеют упрекнуть:
Когда испанская коррида

В арене желтой чертит путь,
Захочет разве кто-нибудь
Сказать быку про Немезиду?..

II. МИ-МИНОР

Байкал и сонный Баргузин
Легли границей старой жизни.
Огильотиненный, в корзине,
Остаток старых катаклизм
Подарен нам для новых болей,
Для новых, маятных надежд
На гибель царствия невежд,
Руководимых злобной волей.

Ириды красочных одежд
Нам не увидеть мертвым взором:
Все слишком часто и позорно
Мы не смыкали ночью вежд,
Пока израненный рассудок
Перекипал в наркозной чаше.
В грядущем счастье не наше,
Нам лишь дурман текущих суток.

III. DE PROFUNDIS

Алкобольные вихри гуляют
В пустыре отаеженных душ.

И тоска, извиваясь, как уж,
Разогнала безумную стаю
Муз, глядящих глазами кликуш:
Сумасшедшую музу Похода
И тифозную музу Тайги,
Только их пощадили враги —
Их, пришедших под стоны невзгоды
И за мной волочивших шаги.
А тоска извивается змеем
В проспиртованной мозга коре.
Нет огня, чтобы сердцу гореть,
А без пламени разве я смею
Прорыдать о любви в пустыре?..
Я взываю в беззвездное небо
И молю: «Научите гореть!»
Я тогда и покорно и слепо,
Вместо медленной смерти нелепой,
Распластаю себя на костре...

IV

Когда хромым, неверным шагом
Я приплетусь сквозь утра тюль;
Когда не враз, вразброд, зигзагом
По мне рванут метлой из пуль;
Когда метнет пожаром алым
Нестройный залп на серый двор,
А я уныло и устало
Ударюсь черепом в забор, —

Тогда лишь только я узнаю,
Что составляет наш удел;
В небытие иль к двери рая
Ведет конец житейских дел.
О Боже, Боже, даруй веры,
Чтоб ярко радостью гореть,
Вкушая ночью мук без меры
Перед расстрелом на утре!

ПРИЖИЗНЕННЫЕ И ПОСМЕРТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПЕРИОДИКЕ

(все стихи этого раздела переизданы в новейшее время: Русская поэзия Китая. Антология. Сост. В. Крейд и О. Бакич. – М.: Время, 2001. – С. 178-191)

ТАЕЖНЫЙ ПОХОД

Чугунным шагом шел февраль.
И где-то между льдами ныла
Моя всегдашняя печаль —
Она шла рядом и застыла.

И, пешим идучи по льду
Упорно-гулкого Байкала,
Я знал, что если не дойду,
То горя, в общем, будет мало.

Меня потом произведут,
Быть может, орден даже будет,
Но лошади мне не дадут,
Чтоб выбраться, родные люди.

Трубач потом протрубит сбор,
И наспех перед всей колонной,
В рассвете напрягая взор,
Прочтут приказ угрюмо, сонно.

И если стынущий мороз
Не будет для оркестра сильным,
То марш тогда «Принцесса Грез»
Ударит в воздухе пустынном.

А я останусь замерзать
На голом льду, нагой перине,
И не узнает моя мать,
Что на Байкале сын застынет.

Тогда я все-таки дошел
И, не молясь, напился водки,
Потом слезами орошал
Свои таежные обмотки.

Я это вспомнил потому,
Что и теперь я, пьяный, воя,
Иду в июне, как по льду,
Один или вдвоем с тоскою.

Я думал так: есть города,
Где бродит жизнь июньским зноем,
Но, видно, надо навсегда
Расстаться мне с моим покоем.

В бою, в походах, в городах,
Где улиц светит ярче лампы,
Где в буйном воздухе, в стенах
Звучат напевы «Сильвы», «Цампы»,

Я одиночество свое
Никак, наверно, не забуду,
И если в Царствие Твое
Войду – и там печальным буду!

(Родная нива. 1925. № 2)

ПОНЯЛА

Мой голос звучал словно бронзовый гонг,
Свои прочитал я стихи.
Не скрипнул ни разу уютный шезлонг,
Лишь душно дышали духи.

Сиреневый воздух метался, и млея,
И стыл, голубея в очах,
Был матово-бледен, был сумрачно-бел
Платок у нее на плечах.

А море с луною, поникшей вдали,
Струилось, покорно словам,
Стихи и гудели, и пели, и жгли,
И рвались навстречу векам.

И бронзовый голос и бронза луны,
Сиреневый воздух и очи —
Все терпкою сладостью были полны
На лоне и моря, и ночи.

Когда ж я окончил, дрожащей рукой
Коснувшись пустого бокала,
Она мне сказала: «Ах вот вы какой!
А я ведь — представьте! — не знала».

(Зигзаги. 1927. № 3)

ЯМАДЖИ

*Японской девушке, убитой
любовью*

Она была такая скромница,
Что даже стоило труда
Мне с ней поближе познакомиться
В тот вечер ветренный... тогда.

Мы по-китайски было начали.
Но что я знаю: пустяки.
Потом самих нас озадачили,
Смешавшись в кучу, языки.

Нам бой принес поднос, как принято,
Там был кофейник и ликер,

Но понимаю я ведь ныне то,
Что говорил мне ее взор.

Он говорил о том, что русские
Не знают слова «умереть»,
И не блестели глазки узкие
Там, где уж чувствовалась смерть.

Теперь, конечно, не поспорю я,
Что именно вот в тот момент
Жерло я видел крематория,
Всё в языках кровавых лент.

Но я поспорю, что в день будущий,
Который жизнь пробьет, дробя,
Сквозь мглу тебя увижу идущей,
Ямаджи-сан, тебя, тебя...

И ты, быть может, мне, тоскливому,
Не знавшему, куда идти,
Укажешь грань к неторопливому,
Но неизменному пути.

(Рубеж. 1928. № 5)

ФОКСТРОТ

И луна. И цветы по краям балюстрады.
Барабанил и взвизгивал джесс.

Было сказано мне: ни меня ей не надо,
Ни моих поэтических месс.

Я тихонько прошел между парами в танце,
Боязливо плеча заостря,
И в таком же, как я, оскорбленном румянце
Намечалась полоской заря.

Ну, еще... ну, еще!.. Принимаю удары,
Уничтоженный, втоптаный в грязь...
«Мою шляпу, швейцар!..» В окнах двигались пары,
И тягучесть фокстрота вилась.

А заря свой румянец старалась умножить,
Полыхался за окнами смех.
— Неужели не знаешь Ты, Господи Боже,
Что обидеть меня — это грех!

(Рубеж. 1929. № 8)

МАЯТА

Фрагмент поэмы

О. И. А.

Если апрель... Если рядом — любимая...
Если как будто и ты тоже люб,
И застилается город весь дымами,
Розовым, чистым дымочком из труб,

Если рассвет... Если рядом — желанная...
Если как будто желанен и ты, —
Господи Боже, заря эта ранняя —
Вся воплощенье давнишней мечты.

Гукал авто, вровень встав с полисменами,
Вы же шоферу — кивок на ходу —
Взглядом, который роднит вас с царевнами:
«Лучше пешком я сегодня пойду...»
Сняли вы шляпу. Пурпуровым заревом
Брызнул восход на прическу у вас.
Шли через мост, через улицы парой мы,
Мимо заборов шагаячи враз.

Мы говорили. Но что? Вы не знаете?
Я уверяю: не знаю и я.
Я к вам дошел и в тревоге, и в маяте.
Старо сравнение: «В сердце змея».
Я был простым, неуклюжим и чистеньким,
Тем, кто я есть, — без личины и лжи.
Я и в глаза не смотрел... в те лучистые,
Ах, и глаза... Как они хороши!

Если глаза... Если милые глазаньки...
Если крылечко и яркий рассвет...
Если пустыми, никчемными фразами
Дал я понять, что — конечно же, «нет!..»
Если унынье, сознание никчемности...
Если упадок, страданье и — гнев —

Гнев на убивших и детство, и молодость,
Что спалены, расцвести не успев, —
Если всё это так, — Боже, за что же мне
Вновь одному, одному, словно перст,
Вновь в путь обратный шагать —
уничтоженным,
Снова и снова таща этот крест...

(Рубеж. 1929. № 11)

МАЯТА

Эскиз поэмы

Утром тягостно владеть бессонным взором,
Солнышко следить — не хватает сил.
Господи! Ведь я же не был вором,
И родителей я чту, как прежде чтил.
Знаю Иова... Учил о нем и в школе,
Памятую, маюсь и дрожу
В этой дикой и пустынной воле,
Уходящей в росную межу.
Но в пустыне праведник библейский,
Вместе с псами в рубище влачась,
Познал ранее, в долине Иудейской,
Сочность жизненную — всю ее, и всласть,
А я вот, Господи...

Я сызмала без крова,
Я с малолетства струпьями покрыт,
И понаслышке лишь, с чужого только слова

Узнал про тех, кто ежедневно сыт.
Брести в слезах, без сил, асфальтом тротуара,
Молясь, и проклиная, и крича,
И вспоминая боль последнего удара
Карающего (а за что?) меча, —
За эту муку — верую, Спаситель,
За каждый шаг бездомного меня —
Ведь верно?.. будет мне?.. потом?.. тогда?.. — обитель,
Где Радость шествует, литаврами звеня.

(Рубеж. 1929. № 11. Черновой автограф — в архиве Е. Д. Воейковой)

В ОЖЕРЕЛЬЕ ОГНЕЙ

В ожерелье янтарных огней
Опоясана даль кругом,
И покачивается над ней
Рыжий месяц, как будто гном.

А залив — червонный поток
С переливами синевы,
Нас несет к огням катерок,
В мире — кажется — я да Вы.

А внизу машина стучит,
И срывается соль в лицо.
Это бухты ли Диомид
Бриллиантовое кольцо?

А налево — рубинов ряд,
Это Русский ли остров там,
А не вышивки ли горят
По тяжелым синим тафтам?

О, покоя хрустальнее нет..
Я от счастья дышать не могу. —
Это Вы ведь багульника цвет
Прикололи мне к обшлагоу.

Ну, а Вам круторогий гном
Бросил блески в прорези глаз.
Я ведь друга почувал в нем! —
Он мечтает тоже о Вас.

Но и он не мог бы понять,
Но и он удивлен бы был,
Если б вдруг ему рассказать,
Как я Вас люблю и любил.

И медлительный ветерок
Долетает мне до лица.
Сделай так, сделай так, катерок,
Чтоб пути — не бывало конца.

(Рубеж. 1929. № 16. Автограф с незначительными разночтениями — в альбоме Е. Д. Воейковой, стихотворение озаглавлено «Катерок» и снабжено эпиграфом из Вс. Ник. Иванова: «О память, память, помоги мне!»)

БЕЖЕНЕЦ

Какими словами скажу,
Какой строкою поведаю,
Что от стужи опять дрожу
И опять семь дней не обедаю.

Матерь Божья! Мне тридцать два...
Двадцать лет переходим каликою
Я живу лишь едва-едва,
Не живу, а жизнь свою мыкаю.

И, занывши от старых ран,
Я молю у Тебя пред иконами:
«Даруй фанзу, курму и чифан
В той стране, что хранима драконами».

(Рубеж. 1930. № 1)

МИМО

Арсению Несмелову

Спасение от смерти — лишь случайность
Для тех, кто населяет землю.
Словам «геройство» и «необычайность»
Я с удивлением и тихой грустью внемлю.

Слова теряют в жизни основанье
Для тех, кто заглянул в миры, где только мысли...

А будущее местопребыванье —
Не меряю,
Не числю...

И вот поэтому писать стихи словами
Мне с каждым днем всё кажется нелепей.
Ведь я иду от Вас — хотя и с Вами —
К просторам неземных великолепий.

(Рубеж. 1930. № 2. В самиздатский сборник стихотворений Л. Ещина «Затерянные строки», составленный Е. В. Витковским в 1977 году, стихотворение вошло как записанное по памяти Е. Ф. Индриксоном; отсутствовали заголовок и посвящение, которые почти наверняка появились лишь при публикации в «Рубеже». Когда публикация стала доступна, оказалось, что Индриксон не допустил ни единой ошибки.)

ДВЕ ШИНЕЛИ

Я тропкой кривою
Ушел в три часа,
Когда под луною
Сияла роса.

А были со мною
Жестяный стакан,
Да фляга с водою,
Да старый наган.

И вынес я тоже
Свирепую злость
Да вшитую в кожу
Дубовую трость.

И — меткою фронта
Сквозь росы и пар —
Махал с горизонта
Крылатый пожар.

Оттуда, где буро
Темнели поля, —
Навстречу фигура,
Как будто бы — я.

Такая же палка,
Такой же и вид,
Лишь сзади так жалко
Котомка торчит.

«Земляк! Ты отколе
До зорьки поспел?» —
В широкое поле
Мой голос пропел.

Как легонький ветер,
Звук в поле затих...
Мне встречный ответил
Два слова: «От них...»

И, палкою тыкнув
В поля, где был дым,
Отрывисто крикнул:
«Я — эвона — к ним!..»

«Шагай!.. Еще рано...
Часов, видно, пять...»
(А пальцы — нагана
Нашли рукоять.)

И — каждая к цели
Полями спеша,
Две серых шинели
Пошли, чуть дыша...

Тропинкою длинной
Шуршание ног.
Чтоб выстрелить в спину,
Сдержал меня Бог.

Но злобу, как бремя,
Тащил я в груди...
...Проклятое время!..
...Проклятые дни!

Харбин, 1930

(Посмертно: Врата. Кн. 2. Шанхай, 1935)

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ АРХИВА Е. Д. ВОЕЙКОВОЙ

СУМАСШЕДШАЯ ПОЭМА

Той, которая поймет.

Идем мы памятник надгробный
Былой России высекать.

(Леонид Ещин, 1920)

I

Бредут, качаясь, времена,
И переменчивы, и длинны,
Но есть такие имена,
Вся жизнь которых именины.

И этот именной быт
В багровом пламени пожарном
Тем, кто извечно Благ и Сыт,
Был нам рассеянно подарен.

Свершилось. Мне ль менять судеб
Предвечный ход, подарок Рока?
Ведь для меня единый хлеб —
Призвание скорбное пророка.

Я предрекать лишь зло умел,
В шинели новая Кассандра,
А ваш весь путь — он снежно-бел —
Он в лилиях и олеандрах.

Вот этот очень скромный стих
Напомнит только сгусток боли,
Что в глубине души затих.
...Он в Вашем будущем неволен.

II

Где гонгов звук тягуч и бронзов,
На двор кумирни где своей
Выходят медленные бонзы
И рисом кормят голубей,

Где с красным синие карнизы
Сплели драконов и зверей,
Где горсть размоченной чумизы —
Дневная пища для людей,

Где фанзы мрак наводит сплины,
Где жарких канов душный дух —
Внезапно в ваши именины
Мы вспомнили Вас — я и друг.

О, этот траур был до боли —
Больны лежащие без сил, —

Простор разгульной вольной воли
Нам в прошлом лишь дарован был.

Пусть горный вихрь свободой веет,
Но это новая страда:
Дышать им можно Прометею,
Лететь с ним вместе — никогда.

А эти фанзы чем не скалы,
И эти рельсы чем не цепь?
И вдоха опийного мало:
На волю надо — надо в степь!

Дедал с Икаром — мы клеили
Из перьев воском два крыла,
Но огонь — стихия в бурной силе
Испепелила их, сожгла.

Икар (он мальчик) знал, что небо —
Его отчизна и семья.
Родной страны он не изведal,
Летел, горел, упал, как я.

III

Опять медлительно монахи
По ступеням во двор идут,
И жертвенники будто плахи,
И гулких гонгов низкий гуд.

Богослужение, как игры,
Флейт и пчелок дикий рев,
Напротив – царственные тигры
Толпе открыли красный зев.

Эй, не меня ли тут хоронят,
Не я ль иду на вышний суд,
Меня ль то на мишурной броне,
На жертвенном огне сожгут?

Зачем задумчивые ламы
Кадят куреньями вослед?
Постойте! Я не видел мамы
Так долго – целых восемь лет.

IV

Рассказам Вашим я не верю,
Я сна, как Вы, не испытал,
Вся жизнь моя – борьба со зверем,
Который пленницу украл.

И не беда, что не в кафтане,
Расшитом золотом, был я –
Мой голос знают в нашем стане,
Как в сказках старого былья.

Герои... О, не схож я с ними,
На мне не бархат и не шелк.

В шинели грязной, в рваном пиме
Я на борьбу со зверем шел.

Иван Царевич — молод, светел,
Красив, как вешняя заря, —
Я знаю: всё, что ценно в свете,
Лишь победителям дарят.

Я побежден был — вон те кости
Перед пещерой, где жил зверь,
На этом без креста погосте,
Где враны каркают теперь.

На этом месте, голом очень,
Там, на коричневом песке —
Вглядитесь — будут яркие точки,
Как будто светляки в леске.

И будет голос, громкий, жуткий,
Ему ответит эхом бор,
Где на береговой опушке
Изба задумчивых сестер.

Они прядут за пряжей пряжу
При мертвой в синеве луне,
Они ответят, сестры скажут,
Быть может, даже крикнут мне.

Ведь это мой — Вам ясно — голос
Кричал из пепельных костей,

С погоста, где унынье голо,
Где трупы всех моих друзей.

Мы вместе с ними против Зверя
Боролись, бились и легли,
Но воскресить нас можно было,
И даже Вы – и Вы б могли.

Вот, скажем, так: среди сестер Вы,
Звонит мне голос золотой,
И я тогда из тлена, мертвый,
Восстану бодрый и живой.

Перебежать ночное поле
К опушке, сестры где прядут,
Вас сжать в объятиях до боли –
О, это сладкий, дивный труд!!

Но дальше в чаще шип змеиный,
Болотники и лесовик,
Гнездо волшебницы Наины
И упыря тягучий крик.

Драконы, ящерицы бродят,
Зубов их светится оскал,
И дальше, дальше в этом роде,
Всё это Пушкин описал.

Но через бор сырой и черный
(Погиб один, наверно, где б)

Весьма удобно и проворно
Нас понесет воздушный кэб.

V

Ведь их смешные самолеты
Давно уплыли в века даль,
У нас не стрелы — пулеметы,
У нас не гусли, а рояль.

И на удобном моноплане,
Сказавши летчику: «Скорей»,
Летим к живому океану
Мы вместо сказочных морей.

Вот плавный спуск. «Возьмите шлем мой», —
Вы говорите. Вот и мой!
Мой друг, у нас теперь дилемма:
Что, в ресторан или домой?

Не так ведь поздно. Ближе к морю.
Смотрите: выпала роса.
— Патфайндер нас — могу поспорить —
Примчит к курорту в полчаса.

Напротив сопки, расступаясь,
Дадут дорогу по шоссе.
И Вы, немного заикаясь,
Расскажете об их красе.

Я буду нем. Слова ничтожны.
Я верю, знаю цену им.
Я рад и прелестям дорожным,
А в перспективе и любви.

И морю около дороги,
И перелескам синим рад —
Чего карающие боги
Меня лишили год назад.

VI

Заря своей закрывает ризой
Далекий блещущий залив,
Придет и вечер блекло-сизый
(Я в описаньях примитив).

И вот за столиком кофейни
Я прочитать тогда бы мог,
Отдавшись грезе и томленью,
Ряд вышеписанных мной строк.

Но я не волен здесь пророчить,
Кассандры горестный удел
(Всегда, вещая, слезоточить)
Я на себя приять лишь смел.

И если я иной раз буду
Писать о рае и о сне,

То можно мне ведь, словоблуду,
Мечтать о рае в тишине.

6 февраля 1924 года
Харбин

* * *

Мне неловко и с ними и с вами,
Мне неловко читать вам стихи,
Ведь вы чужды созвучия гамме,
Как Гораций смеху Ехидн.

Я живу, я болею стихами,
Они выжжены в сердце моем,
Не забуду их в уличном гаме,
Не забуду ни ночью ни днем.

Со стихами я, одинокий,
И умел забывать и мог
И мои небритые щеки,
И разорванный мой сапог.

Вот, бывало, в седле с карабином,
По таежным тропам бродя,
Зорям я улыбался рубинным,
Строфы мозгом моим родя.

И теперь на панели промерзшей,
Проходя под огнями реклам,
Шаг становится строже и тверже,
Если череп отдам я стихам.

Вы и я. Мы так разнимся в этом,
В этой мессе напевности рифм,
Впрочем, что ж: я родился поэтом,
Вы же просто мадам Барри.

Задыхаюсь, коль прочитаю
Две-три строчки, где гений есть,
Вам же это лишь хата с края,
И ни выпить нельзя, ни съесть.

Вы умнее меня, быть может,
Вы для жизни ценней во сто крат,
А меня — вот так — уничтожит
Тяжкий, гулкий пожарный набат.

Вот поэтому я смущаюсь,
Если мне предложите вы
Оторвать, хотя бы с краю,
Хоть кусочек моей синевы.

Я читаю, мой голос сверкает,
В нем таинственный, дивный гипноз,
Прочитаю, потом же какая
Очарованность та, что я нес.

Ничего. Пьете чай вы и гости,
И никто не вспомнит потом,
Мой совет: вы поэзию бросьте,
Лучше думайте о другом.

2 февраля 1924 года

ПРО МОСКВУ

В этой фанзе так душно и жарко.
А в дверях бесконечны моря,
Где развесилась пламенно-ярко
Пеленавшая запад заря.

Из уюта я вижу, как юно
От заката к нам волны бегут.
Паутинятся контуры шхуны
И певучий ее рангоут.

Вот закат, истлевая, увянет, —
Он от жара давно изнемог, —
И из опийной трубки потянет
Сладковатый и сизый дымок.

Этот кан и ханшинные чарки
Поплывут — расплываясь — вдали,
Там, где ткут вековечные Парки
Незатейливо судьбы мои.

«Ля-иль-лях», — муэдзин напевает
Над простором киргизских песков,
Побираемых вечером в мае
Эскадронами наших подков.

И опять, и опять это небо,
Как миража дразнящего страж.
Тянет красным в Москву, и в победу,
И к Кремлю, что давно уж не наш.

А когда, извиваясь на трубке,
Новый опийный ком зашипит,
Как в стекле представляется хрупком
Бесконечного города вид.

Там закат не багрян, а янтарен,
Если в пыль претворилась грязь
И от тысячи трубных испарин
От Ходынки до неба взвилась.

Как сейчас. Я стою на балконе
И молюсь, замирая, тебе,
Пресвятой и пречистой иконе,
Лица Божьего граду — Москве.

Ты — внизу. Я в кварталах Арбата
Наверху, посреди балюстрад.
А шафранные пятна заката
Заливают лучами Арбат.

А поверх, расплываясь медью,
Будто в ризах старинных икон,
Вечной благостью радостно вея,
Золотистый ко всенощной звон...

(Вошло в антологию «Русская поэзия Китая»)

СУМБУР

Я бросила муфту на кресло
И села, нахмутивши лоб.
— Скажите без всякого «если»,
Когда мне дадите развод?

Мы спорили долго и гадко,
Слова догоняли слова,
А я наблюдала украдкой,
Как чудна его голова.

Когда же с изяществом силы
Он жестом прервал разговор,
Я как бы внезапно забыла,
О чем между нами был спор.

И долго потом споминала,
Целуя и щеки и лоб,
Какое сегодня для бала
Портниха мне платье сошьет...

Владивосток, 1921

ПОБЕДА

В твои глаза, в стальные латы,
Сбивая тяжести оков,
Моим лицом одутловатым
Сочилась музыка стихов.

И я читал на низких нотах,
Чеканя рифм и ритма грань,
А стих был — в поле конский топот,
Был рог — военный зов на брань.

И с каждой строчкой, с каждым звуком
Я брал врата твоих твердынь.
Как победитель — громко, гулко
Под своды зал твоих входил.

Когда же ярко и крылато
Из горла вырвался финал,
Твой взор уже отбросил латы,
Таким покорным, тихим стал.

ВИДЕЛ

Гребень сильно пахнет духами.
И прическа эта модна.
О, я знаю, какими грехами
Перевил ее сатана.

Через зеркало вижу ресницы,
К волоскам когда руки длишь.
Мне твой рот никогда не снится.
Лишь ресницы... ресницы лишь.

В лифе — чую — клокочет счастье.
От него засияла вся.
И браслеты звенят на запястьях,
Будто мне за обиды мстя.

Но напрасную радость чают:
В этом самом зеркальном окне
Я ведь видел, как в чашку чаю
Ты насыпала яду мне.

ГОЛУБЯТНЯ

Вернуться пьяным на заре
И за окном на голубятне
Стекланным взглядом посмотреть
На голубей — чего приятней?

Стоять и думать о царе,
Что подоткнул кафтана полы,
Смотрел в тазу на серебре
На голубей в лазурных долах.

И вспоминать, как Карл Седьмой
По голубям из мушкетона,

С охоты едучи домой,
Стрелял под звон, под дамы стоны.

Но голубая Лизабет,
Моля о жизни голубиной,
Всё ж будет косточки их есть
Под вечерок перед камином.

Я сам любитель турманов,
Я сам, махая палкой длинной,
У дядюшки в имени «Новь»
Гонял их часто пред гостиной.

Не потому ль, что это — даль,
Не потому ль, что нету чаю,
Я пьяный всю свою печаль
На утре в голубях встречаю?

* * *

Калитка всхлипнет на петлях,
Замок, защелкиваясь, грохнет;
И вот — любви цветок зачах,
И страсти мелких даже крох нет.

Залив, лучась зари отсветом,
Подремывая, не дрожит.
Вода, упившись пышным летом,
Далекий раскрывает вид.

Суда, вклеившись в суд простора,
Не колыхаясь, тоже спят.
И даже шум – жужжок мотора
Пробудит утром их навряд.

Заря стучится. Что ж, войдите,
Чтоб проводить меня домой,
Пока в морском безбрежном сите
Не захозяйничал прибой.

Иду. И мысли о ней нету.
Ее украли... Сгину в ночь.
Я не виновен. Рад я лету,
А остальное прочь.

Над этим розовым заливом
По сопкам в мокнущем пути
И вы, сознайтесь, не могли бы
Любовь до дома донести.

19 февраля 1924 г.

* * *

Угрюмый день молчал, смотря на небо,
Где дымились в пене облака,
И одно в уме: достать бы хлеба,
Ведь дорога в дебрях далека.

Пить хотел. Ключи не зажурчали.
Есть хотел. Но лес был дик и глух.
Как, сорвавшись с пристани, с причала
Челн летел – так мой струился слух.

Но уныло ветви со стволами,
Перестукиваясь и шурша,
Звуки лили редкими струями
Да слетала с неба пороша.

Там и умер я голодной смертью
На полях и на крутом юру,
Но и в смерти был я тих, поверьте.
Помирать? Ну что же, и помру!

19 февраля 1924 года

* * *

Я не хотел, не ждал любить,
Не нужно метки перед смертью,
В канун, когда (всё может быть)
Меня в аду зажарят черти.

Но почему-то дочь твоя
Милее, ближе мне, чем братья,
Сестра, отчизна и друзья,
И кокаинные объятья.

Казалось мне, что жизнь и кровь
Излиты, выпиты, сгорели,
Но рифма старая — любовь —
Цветет и в этом вот апреле.

И Пасха мне уж пятый год
Была неверным воскресеньем,
А на шестой, как мед из сот,
Твоим струится дуновеньем.

Приду во храм. Темно без свеч.
Священным трауром одета,
Нависла тьма, как будто меч,
И мрачно, холодно без света.

Дрожа, у клироса стою,
Весь в жажде взрыва, Свет и Свете,
И вдруг улыбку я Твою,
Мелькнувшую, как комета,

Увижу, выпью, припаду,
Как к ручейку в дубовом лесе,
И сладко, сладко так я жду
Поуповать: Христос воскресе.

* * *

И опять в беспредельную синь
Побросали домов огоньки,

И опять вековечный аминь
Затянули на крышах коньки.

Флюгера затянули про жуть
Обессоненных битвой ночей,
Вторя им, синеватая муть
Замерцала огнями ярчей.

Синева этой бархатней нет,
Я нежнее напева не слышал,
Хоть давно уж стихами испет
По затихнувшем в бархате крышам.

Всё сильней и упорней напев,
Словно плещется в море ладя.
...Лишь закончив кровавый посев,
Запевают такие, как я,
Да и песня моя — не моя.

(Вошло в антологию «Русская поэзия Китая»)

*СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ АЛЬБОМА
Е. Д. ВОЕЙКОВОЙ*

ЕКАТЕРИНА
(сонет)

В тумане облачном неясна и мутна,
Как в дымном ладане курящее кадило,
С далекого амвона мне светила
Лиловая холодная луна.

Я проходил сквозь ночь. Гудящая струна
Высоких проволок была близка и мила,
Манила вдаль таинственной силой
Издревле золотом томящего руна.

Духов ее мучительных и сладких
Остался на губах едва заметный вкус,
Как память изумительнейших уз,
Начало и конец теряющих в загадках.

А эхо от шагов в пустых ночных витринах
Звенело именем одним: Екатерина.

12 мая 1924 года

СЛОМАННЫЙ ЭКСПРОМТ

Ваш месяц – Царственный Сентябрь
В багровой с золотом порфире,
Когда природа в буйном пире
Снимает ризы, охмелев.

Но помните: придет Октябрь,
А этот месяц, позабыв о мире,
Начал борьбу – упорней, шире,
Снимая мертвенный посев.

Тогда держитесь – строже мина!
Ведь Вас зовут Екатерина.

5 января 1924 года

«СПИ СПОКОЙНО,
КРОТЧАЙШИЙ ЛЕНЬКА!»

Матерь Божья! Мне тридцать два...
Двадцать лет переходим каликою
Я живу лишь едва-едва,
Не живу, а жизнь свою мыкаю.

И, занывши от старых ран,
Я молю у Тебя пред иконами:
«Даруй фанзу, курму и чифан
В той стране, что хранима драконами».

Леонид Ещин. Беженец <1930>

«...Особенно следует воскресить из мертвых Арсения Ивановича Несмелова и Леонида Ещина. Если это более или менее легко будет сделать с Арсением Несмеловым, то трудно, если не почти невозможно, со вторым — Леонидом Ещиным. Это был очень незаурядный человек и поэт. Но после него ничего не осталось, а теперь, наверное, в связи с тем, что происходит в Китае, в архивах газет и журналов ничего не найдешь».

Это цитата из первого письма ко мне в Москву некогда весьма известной в Харбине, а позднее в Шанхае поэтессы Лидии Хаиндровой от 8 января 1969 года (отсюда и «что происходит в Китае» — «культурная революция» цвела в Китае пышным цветом). Хаиндрова знала о существовании поэтического сборника Леонида Ещина «Стихи таежного похода» (Владивосток, 1921), но сам сборник и найти не надеялась. В письме от 21 января 1969 года она могла мне сообщить о Ещине совсем мало: «...умер он при-

мерно в 30-х годах. <...> Несмелов знал Леонида Ещина, так как, познакомившись с Арсением Ивановичем и говоря с ним о уже тогда покойном Ещине, я упомянула, что у меня есть два его письма. Несмелов попросил дать их почитать, но теперь у меня этих писем нет. Слишком много мне в жизни пришлось путешествовать. Да, мне повезло, на первые же мои стихи (слабые, но очень искренние) я вдруг неожиданно получила отклик-письмо от известного и маститого (а я читала его стихи и они мне очень нравились) Леонида Ещина. Какая же это, я помню, была радость».

Вопрос о Ещине я задал Хаиндровой не случайно. Примерно тогда же, когда советские танки входили в Прагу, когда мне уже «стукнуло восемнадцать», я понял, что никаким искусствоведением я заниматься не буду (хоть и учился ему в МГУ, но наукой пахло на нашем отделении очень слабо, — об этом в другой раз), а дело мое — филология, изучение поэзии русской эмиграции в частности. Прикидывая в уме, много ли я успею сделать до того, как посадят (хотя шанс, что не посадят, я все-таки учитывал — подозревал, что на каждого у КГБ не хватит ни рук, ни глаз), я читал всё, что мог достать. И удивительно своевременно попала в мои руки статья Юстины Крузенштерн-Петерец, напечатанная в 1968 году в парижском журнале «Возрождение» (№ 204), — «Чураевский питомник», с подзаголовком: «О дальневосточных поэтах».

Статья эта, с которой по общему мнению только и начинается серьезное изучение угасшей «восточной ветви» русской эмиграции, определила не только мою судьбу. Но мне, уже кое-как пообщавшемуся с русскими парижанами, было ясно: прежде всего надо искать не то, что «там», а то, что «здесь». Раздобыл адрес Лидии Хаиндровой, написал письмо. Ответ выше процитирован.

Однако о Ещине в статье Крузенштерн-Петерец было еще кое-что:

«<...> у них (членов кружка «Чураевка» — *Е.В.*) были свои учителя: Ачаир, Арсений Несмелов, Леонид Ещин...

Ещин скоро расстался со своей «белой музой». Его грызла тоска по России. Он начал работать в советской газете, там он не очень прижился, ушел, с горя стал пить мертвую. Огромный, почти никогда не бритый, неряшливый, Ещин подкупал своим детским беззлобием, и его любили, как беспризорного ребенка, как большого доброго пса. Он, вероятно, таким себя и чувствовал, когда писал:

Неужели не знаешь ты, Господи Боже,
Что меня и обидеть-то грех.

Ещин скончался приблизительно в двадцать девятом году, еще молодым. Единственную свою ценность, тетрадку стихов, он оставил своей знакомой Е. Д. Воейковой, уехавшей в пятидесятых годах в СССР. Ещина под именем Евсеева вывела в своем романе «Возвращение» дочь Воейковой, советская писательница Наталия Ильина, изобразившая его как жертву русских фашистов. В романе поэт погибает от пули вождя фашистов Родзаевского. На самом деле было гораздо проще — Ещина убил алкоголь».

Здесь немало неточностей — и в цитировании, и в датах, но в целом всё верно. Много лет спустя сулилось мне найти вырезку из парижской газеты «Русская мысль» (№ 1120 от 12 октября 1957 года), содержащую еще кое-что: это было «Открытое письмо Наталии Ильиной, автору романа “Возвращение”. Журнал “Знамя”, Москва». Автором письма была опять-таки Ю. В. Крузенштерн-Петерец. Редко где и когда удавалось мне прочесть текст, полный такого ядовитого ехидства, основанного в общем-то на справедливом возмущении автора письма, возникшем после чтения этого романа:

«...Глава фашистов Родзаевский (Вы называете его прямо) в день обыска в советском консульстве (Харбин, 1929) убивает на улице поэта Леонида Евсеева <...>.

Наташа, неужели не стыдно? Леонид Ещин никогда никем не был убит, а скончался бедняга от алкоголя. Стихи его хранились у Вашей мамы – там было много хорошего <...>. Впутав его посмертно в грязную комбинацию, которую Вы назвали романом, бросив от его имени этой грязи в казненного Родзаевского, Вы обидели двух мертвых».

Пожалуй, роман «Возвращение» можно больше не поминать: в 1969 году вышло его полное, сильно переработанное издание в двух томах; забегая вперед, скажу, что мне довелось видеть у Ильиной на диване колоссальную стопу авторских экземпляров. Больше Ильина к этой книге не возвращалась.

Нет желания особенно вникать в эту ссору: замечательной женщиной была правнучка, если не ошибаюсь, великого русского путешественника И. Ф. Крузенштерна, сперва вдова скончавшегося в 1934 году в Шанхае поэта-переводчика Семена Степанова, позднее – скончавшегося там же десятью годами позже русского поэта Николая Петереца. Помимо прекрасных стихов и хорошей прозы, оставила она потомкам в наследство и такой плод своей музыки, как выпущенный в 1935 году в Шанхае сокращенный перевод книги Адольфа Гитлера «Моя борьба». Правда, о нем не любят вспоминать даже библиографы, но... кто без греха, тот пусть камнями и бросается.

Среди моих с трудом разысканных корреспондентов был еще один питомец Чураевки – живший тогда в Свердловске Николай Щеголев, чей образ во многом послужил прототипом главного героя «Возвращения» Ильиной. Ильина жила в Москве, а меня комплексы не мучили: я даже телефона ее не стал выяснять, я выяснил адрес – и

заявился к ней прямо со своим «досье» на нее. Меня все-таки интересовал прежде всего архив Ещина, человека, близкого ее семье; рекомендации были не заграничные, а «здешние». С первого раза Ильина меня выгнала: решила, что ей очередного чудо-фельетониста из графоманов «Крокодил» на оценку прислал. Но встречу через неделю назначила. Я не гордый, я опять пришел.

И прямо рассказал — чем занимаюсь, чем заниматься хочу. Ильина подумала... и открыла шкафчик. Достала початую бутылку хорошего вермута. И сказала, что надо подумать.

Мы подумали рюмку, подумали вторую. После этого Ильина достала несколько не особенно далеко спрятанных пожелтевших папок, несколько книг и сказала: «Вот что у меня есть».

Я дрожащими руками перебирал листки с неведомо чем, записанным в столбик, а Ильина думала о судьбе своего рода, вспоминала «свое» — историю рода, историю жизни. Из этого «своего» в конце концов выросла ее мемуарная книга «Дороги и судьбы» (1985, расширенное издание — 1988), единственная книга, которой оправдала Ильина звание настоящего русского писателя. У истоков этой книги стоял я... но нет в этом никакой моей заслуги. Я искал в архиве Ильиной Ещина, и нашел. Это и впрямь была тетрадь — да несколько вложенных в нее листков. Нашлись наброски и в «гостевом альбоме» Е. Д. Воейковой.

— Ну, приходите ко мне и переписывайте, — сказала Ильина и назначила день. В комнату заглянул муж Ильиной, А. А. Реформатский. Как я потом узнал, ему требовались «вечерние сто» (то ли двести?). Я быстро свернул удочки и ушел. Но в назначенное время пришел, сел переписывать. И еще раз пришел. На третий раз Ильиной это надоело, и она отдала мне архив с собой — поверила. Я

бережно всё скопировал, тогда же окольными путями раздобыл и владивостокскую книгу Ещина — и надолго, на десятилетия оставил эту тему. Надо было «воскрешать» Несмелова, Георгия Иванова; надо было вести переписку с живыми тогда поэтами зарубежья — Валерием Перелешиним, Иваном Елагиным, Николаем Моршеном, Игорем Чинновым; надо было вращаться в раз и навсегда выбранный образ поэта-переводчика, который не может работать, не ходя по посольствам. Впрочем, это уже факты моей биографии. Но то, о чем писала Крузеншерна — «единственная ценность Ещина», — хранилось у меня. Я и не думал, что настанет час, когда эти стихи кому-то будут нужны. Я всего лишь хотел их сохранить, а уж кто потом придет, тот пусть сам решает, нужно ли с этим что-то делать.

Час настал. В 2000-м году я оказался главным редактором солидного издательства «Время». И первым делом поставил в планы антологию «Русская поэзия Китая». Много уже было издано: книга стихов и прозы Арсения Несмелова, составленная мною и А. В. Ревоненко вышла десятью годами раньше. Но такую антологию поднять одному человеку было не под силу. Собрав всё, что можно, взялись за дело: в США — профессор Вадим Крейд, в Канаде — профессор Ольга Бакич (как составители), в России — я сам (как научный редактор). Неоценимую помощь оказали Л. М. Турчинский (Москва), Патриция Полански (Гавань), Ли Мэн (Чикаго) и многие другие.

Полагалось найти место в книге и для Леонида Ещина, притом ограничив подборку именно стихами, написанными в Китае, не пользуясь более ранними. Кое-что нашлось в публикациях двадцатых годов. Но мало. И тогда я вспомнил про хранившийся у меня добрых тридцать лет «архив Е. Д. Воейковой». И, надо сказать, он изрядно пригодился. Подборка вышла неплохая. Одна подборка из пятидесяти восьми, составивших антологию. Антология

могла бы быть и побольше, но книгу толще 720 страниц отказывалась принимать типография.

...Пожалуй, этого достаточно. Теперь нужно рассказать то небольшое, что более или менее достоверно известно о самом Леониде Ещине.

Довольно много известно о семье, в которой появился на свет будущий поэт. Отец его, Евсей Маркович Ещин (1865-?) родился в Речице Минской губернии, там же родился и дед, женившийся на дочери местного купца. Происходил он, по всей вероятности (судя по семейным именам и местожительству в черте оседлости), из выкрестов, принявших православие в весьма давние времена. Евсей Ещин окончил уездное училище, классическую гимназию, а позднее — юридический факультет Московского университета. Занимался журналистикой, в 1894 году на время Ярмарки был приглашен в Нижний Новгород в газету «Нижегородский листок». С 1895 года занимался адвокатурой, в 1895 году в Самаре, работая в редакции «Самарской газеты», познакомился с Максимом Горьким. С 1896 году в связи с открытием Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде переехал туда; женился, в 1897 году там и родился его сын — Леонид Евсеевич Ещин.

О юности Леонида Ещина известно очень мало — собственно, ничего, кроме того, что учился он в Московском университете. Списки студентов специально мною не просматривались, но сведения о том, что учился он на юридическом факультете, продолжая семейную традицию, более чем правдоподобны. Был ли он на фронте во времена Первой мировой войны — данных тоже нет, а вот в Гражданской войне он участвовал определенно: мы находим его в чине прапорщика в отряде полковника А. П. Перхурова. С этим человеком связана немалая часть судьбы Леонида Ещина: демобилизованный в 1917 году полковник в янва-

ре 1918 года занялся активной борьбой с советской властью, вступив в «Союз защиты Родины и Свободы» (эсеровский, возглавлявшийся Борисом Савинковым). Перхуров поднял антибольшевистское восстание в Ярославле (июнь-июль 1918 года), участвовал в этом восстании и прапорщик Леонид Ещин. После подавления восстания в Ярославле Перхуров (а с ним и Ещин) убыл в Поволжье, где вскоре вновь вступил в борьбу. В 1919 году Перхуров, уже генерал-майор, принял участие в отступлении русских войск, в Великом Сибирском Ледяном походе. Для его группировки Поход сложился крайне неудачно: после того, как в январе 1920 года был оставлен Красноярск, группа пыталась пройти по бездорожью через тайгу к югу от Байкала — но заблудилась. 11 марта Перхуров попал в партизанское окружение и вынужден был сдаться; лишь немногим удалось вырваться на восток, дабы воссоединиться с войсками атамана Семенова, после расстрела А. В. Колчака, формально возглавлявшего армию. Среди этих немногих был и капитан Леонид Ещин.

Арсений Несмелов, будущий «главный» поэт русского Китая, и Леонид Ещин познакомились во Владивостоке, если не раньше. Уже в книге Несмелова «Стихи» (Владивосток, 1921), Ещину посвящено стихотворение «Пираты», — довольно незрелое. Зато в сборнике Арсения Несмелова «Без России» (Харбин, 1931) мы находим поразительное стихотворение, в котором запечатлена и судьба покойного к этому времени поэта, и его облик. Лучше привести его здесь целиком:

ЛЕОНИД ЕЩИН

Ленька Ещин... Лишь под стихами
Громогласное — Леонид,

Под газетными пустяками,
От которых душа болит.

Да еще на кресте надгробном,
Да еще в тех строках кривых,
На письме *от родной*, должно быть,
Не заставшей тебя в живых.

Был ты голым и был ты нищим,
Никогда не берег себя,
И о самое жизни днище
Колотила тобой судьба.

«Тында-рында» — не трын-трава ли
Сердца, ведающего, что вот
Отгуляли, отгоревали,
Отшумел Ледяной поход!

Позабыли Татарск и Ачинск,
Городишки одной межи,
Как от взятия и до сдачи
Проползала сквозь сутки жизнь.

Их домишкам — играть в молчанку.
Не расскажут уже они,
Как скакал генерала Молчанова
Мимо них адъютант Леонид.

Как был шумен постой квартирный,
Как шумели, смеялись как,
Если сводку оперативную
Получал командир в стихах.

«Ай да Леня!» — и вот по глыбе
Безнадежности побежит

Легкой трещиной улыбка,
И раскалывается гранит!

Так лучами цветок обрызган,
Так туманом шевелит луна...
— Тында-рында! — и карта риска
В диспозиции вновь сдана.

Докатились. Верней — докапали,
Единицами: рота, взвод...
И разбилась фаланга Каппеля
О бетон крепостных ворот.

Нет, не так! В тыловые топи
Увязили такую сталь!
Проиграли, продали, пропили,
У винтовок молчат уста.

День осенний — глухую хмару —
Вспоминаю: в порту пустом,
Где последний японский «Мару», —
Леонид с вещевым мешком.

Оглянул голубые горы
Взором влажным, как водоем:
«Тында-рында! И этот город —
Удивительный — отдаем...»

Спи спокойно, кротчайший Ленка,
Чья-то очередь за тобой!..
Пусть же снится тебе макленка*,
Утро, цепи и легкий бой.

* Макленка — небольшая пушка (*прим. А. Несмелова*).

Адъютант генерала Молчанова... Здесь, как и везде, Арсений Несмелов документально точен. Викторин Михайлович Молчанов (1886-1975) — кем был этот неожиданно промелькнувший в стихах большого русского поэта человек? Архивные данные дают скудную информацию: полковник армии А. В. Колчака, командир Ижевской отдельной стрелковой бригады II Уфимского артиллерийского корпуса. С июля 1919 года — начальник Ижевской дивизии. В 1920 году произведен атаманом Г. Семеновым в генерал-лейтенанты, однако снял с себя этот чин в Приморье. В ноябре 1921 г. участвовал в освобождении Хабаровска (т. н. «Волочаевские дни»), в феврале его армия потерпела поражение под Волочаевкой.

Потерпел поражение и капитан Леонид Ещин. Добрался до Владивостока, где советской власти в те времена пока что было *выгодно не быть* (чтобы не ввязываться в войну еще и на этом фронте), огляделся — пошел заниматься тем же, чем и Арсений Несмелов. Собственно, единственным, что умел (кроме как воевать, а на это спроса не было): пошел писать стихи, а точнее — стихотворные фельетоны в газету «Руль». И во все остальные газеты, где можно было заработать иену-другую на самогон, на хлеб, на махорку... что греха таить — на кокаин. Им в Приморье баловались в те времена все: у корейцев стоил он гроши, меньше, чем спиртное.

Впрочем, насчет «газетных пустяков» Несмелов перехватил. Поэтический сборник у Ещина во Владивостоке все-таки вышел (мы воспроизводим его целиком). И это отнюдь не газетные пустяки: подобной картины Великого Ледяного Похода, пожалуй, ни у кого, кроме Несмелова и Ещина, отыскать не удастся.

Во Владивостоке кипела литературная, в основном поэтическая жизнь: не менее полусотни одаренных, действительно оставивших след в русской литературе поэтов

печатали стихи, выступали на вечерах, издавали авторские и коллективные сборники, лезли в политику, крайне слабо представляя себе — чем это для них обернется в самом скором будущем.

Но кем и чем в этой разношерстной компании (от Асеева до Давида Бурлюка) был Леонид Ещин — лучше не гадать. Лучше снова дать слово свидетелю, пусть даже цитату придется привести довольно длинную. Взята она из рассказа Арсения Несмелова «Удачный заголовок» («Рубеж», Харбин, 1937, № 3). Опубликовано с подзаголовком «отрывок из романа». По всей вероятности, перед нами первая глава романа «Продавцы строк»; роман никогда окончен не был. Только что редактор газеты «Вечерний звон» господин Зотов, он же «Савостий», закончил передовицу, название дать ей забыл, а номер надо засылать в типографию; Зотов же, алкогольная его душа, заснул возле пишущей машинки, и метранпажу очень страшно будить начальника. И вот...

<...>

В то самое время, когда Савостию снится этот странный и дикий сон, в кабинет его входит Леонид Ещин, поэт и бывший капитан каппелевских войск. Румяные, как у негра оттопыренные, толстые губы капитана в ритмичном движении: он обсасывает мятную лепешку, которой только что закусил стопку водки, проглоченную в китайской лавочке напротив редакции.

— С утра готов! — взглянув на Савостия, громко говорит Ещин не то с укором, не то с завистью. — И когда только успел, я ваша тетя!..

Ещин садится за один из столов, тянется к длинным, узким полоскам бумаги, грудкой лежащим за чернильницей, и, сидя очень прямо, даже как будто отталкиваясь от

стола, словно преодолевая некое его притяжение, — начинает писать стихотворный фельетон на завтрашний день. Пишет он удивительно быстро и редко зачеркивает написанное слово; рука, непрерывно движущаяся, приостанавливается лишь на долю секунды, и тогда поэт прищуривает левый глаз, и кажется, что он целится.

Скрипнула дверь. Приотворилась. В раствор просунулась круглая — арбузиком — совершенно безволосая голова. Она висит так невысоко над дверной ручкой, что человек, оглядывающий комнату, должен быть чрезвычайно малого роста. Так и есть: Борис Борисович, выпускающий Савостия, — совсем крошечный; сотоварищи называют его сокращенно Бебе.

Борис Борисович на цыпочках подходит к Ещину и осведомляется:

— Спит?

— Дрыхнет, — не отрываясь от писания, командирским баритоном бросает тот.

Бебе сокрушенно вслушивается в носовые посвистывания и всхрапывания патрона и снова исчезает — бежит в типографию, где он заверстывает последнюю полосу. Но через несколько минут он появляется снова. Снова на носочках подкатывается к Ещину и умоляюще шепчет, с опаской посматривая на спящего:

— Видите ли... они передовицу написали, а заголовок дать забыли. Статья заверстана, а заголовка нет... Полосу на машину пора спускать — запаздываем, — а заголовка нет.

— Ну? — бросает Ещин, не прерывая писания.

— Не знаю, как быть...

— Ну? — гремит Ещин. — В чем дело, я ваша тетя!

— Я их, было, побудил, — шепчет Бебе, искоса посматривая на Савостия, — а они крикнули: «Убью!» Больше будить не решаюсь... Сами знаете, какие они, когда не в духах...

— Ну?.. — карандаш Ещина так и летает по бумаге. — Чего вам от меня надо? Честно: пьян и спит!..

Он кончил писать: жирной чертой подчеркнул подпись «Купорос» — и в первый раз за всё это время взглянул в расстроенное личико Бебе.

— Дайте передовую, я сделаю заголовок.

— Как можно! — испугался Борис Борисович. — Боже сохрани, что будет! Я не о том...

Маленький, кругленький, с коричневой от загара плешью, всегда без шляпы, в надежде на произрастание волос, — он так и танцует вокруг Ещина, весь угодливость и подобострастие.

— Я к тому, что, может быть, вы разбудите их и спросите?.. Вы, так сказать, свой человек — тоже военные... Вам что же их бояться!

— Рупь!

И Ещин углубляется в перечитывание своего фельетона. Ставит запятую, улыбается написанному; делает вид, что совершенно забыл о Бебе. И Бебе исчезает в соседнюю комнату, где сидит конторщик. Через минуту он возвращается, неся в протянутой ладони серебряный полтинник и два гривенника.

— Вот, — говорит он. — Семьдесят. Помните — тридцать сен за вами оставалось?

— Честно! — басит Ещин и встает. — Честно, я ваша тетя!

Ш

— Вашшш билет! — раскатисто кричит Ещин на ухо Савостию. — Вашшш билет... Приехали!

Савостий вздрагивает, открывает глаза. В них, мутных от сна, — беспомощное, детское выражение. Ведь только что в аудиторию Гейдельбергского университета ворва-

лись русские солдаты и, подняв Виндельбанда на штыки, закричали Савостию:

— Мир есть воля и представление. Дайте, ваше благородие, рупь на табачок, или мы его дококаем.

Виндельбанда, конечно, жалко, но самый страшный ужас не в мученической кончине любимого профессора, а в том, что штабс-капитан Иволгин с наганом в руках проталкивается уже и к Платону и кричит, что великий мудрец вовсе не великий мудрец, а агент третьего интернационала, внутренний враг, большевик, и именно из-за него-то и погибла Россия.

А за Иволгиным прячется и заклятый враг Савостия, ядовитый фельетонист Кок, прицепивший к славному, на весь Дальний Восток знаменитому имени талантливого, умного Олега Ивановича Зотова бессмысленную, но оскорбительную кличку Савостий и даже еще унижительнее — Савоська. И Кок этот перехватывает Савостия, бросившегося на защиту Платона, ловит его за плечо и при этом шипит по-змеиному: ашшш, ашшш!

— Вашш билет!.. Как назвать передовую? Дай заголовок! — надрывается Ещин, пользуясь тем, что Савостий открыл глаза.

И, всё еще продолжая грезить, дернув плечом, Савостий по адресу Кока и прочих врагов своих рявкает: «Сволочи!» И снова погружается в сон, точно в яму проваливается.

— Слышали? — говорит Ещин. — Сволочи. Честно!

— Как-с? — не понимает Бе-бе. — Что-с?

— Сволочи, — повторяет Ещин, бросая свой фельетон на стол перед Савостием. — Так и назовите передовую. Ну чего глаза пялите?.. Ведь ясно же он сказал. Я — свидетель...

— Придется! — сокрушенно вздыхает Бебе. — Придется, ничего не поделаешь — пора газету печатать, опазды-

ваем уже... Только уж вы засвидетельствуйте на бумажке, что вы их будили и они сами дали этот заголовок.

— Честно! — соглашается Ещин, снова вытаскивая карандаш из кармана френча. — Могу, пожалуйста, я ваша тетя!

IV

Савостий проснулся часа через полтора. Открыл глаза и, сморщившись, снова закрыл их. Вдохнул, подбирая обвисшее тело, и хрипло сказал самому себе:

— Нехорошо, дорогой, напиваться. Не похвально!

Сделал усилие и окончательно пришел в себя; вспомнил о газете, забеспокоился, тяжело задвигался в узком для него кресле, и кресло заерзало по полу и заскрипело. И тут он услышал идущий из-под пола ровный, ритмический гул работающей печатной машины и понял, что всё благополучно: печатают номер.

— Нехорошо, Олег Иванович, так напиваться — так и помереть недолго! — уже ласково побранил себя Савостий и увидел записку на валике Ундервуда, положенную приметно — явно с целью привлечь к себе его внимание сразу же после пробуждения. И Савостий прочел расписку Ещина:

«Я, нижеподписавшийся, свидетельствую, что разбуженный мною редактор «Вечернего Звона» Олег Иванович Зотов (Савостий) на мой вопрос, какой заголовок дать к передовой статье, — громко, членораздельно и внятно ответил: «Сволочи». — *Леонид Ещин*».

<...>

И впрямь — «Под газетными пустяками...» Но тут противоречит себе именно Несмелов: под газетным пустяком

Ещин ставит у него не подпись, а псевдоним «Купорос». То ли подлинный (скорее всего), то ли первый пришедший в голову — иди теперь проверь.

Собирать «газетные пустяки» за неизвестными подписями в поразительно плохо сохранившейся периодике двадцатых годов — дело неблагоприятное. Да ведь и так бывало, что одним псевдонимом в газете пользовалось несколько человек, хотя чаще один человек пользовался десятью псевдонимами. Так или иначе, для русской поэзии от всего владивостокского периода творчества Ещина остался только сборник «Стихи таежного похода», под стихотворениями которого стоят даты 1919 — 1920 годов.

Об этой книге подробно писал Арсений Несмелов в статье «Памяти Л.Е. Ещина» в харбинской газете «Рупор» (1931, № 153) к первой годовщине со дня смерти своего друга:

«Тематика книги такова: конь, седло, леденящая стужа, зарево заката и на его медно-красном фоне — силуэты всадников. Спирт, который пьют отступающие, разводя его снегом. Костры и т.д.

Почти во всех стихотворениях — песенный лад. Да их и пели соратники Леонида Ещина. По свидетельству автора, он сложил их в походах, а записал лишь во Владивостоке».

В каком году Ещин покинул Владивосток и перебрался в Харбин, тем более — как именно он это сделал, теперь остается только гадать. Если судить по датам в альбоме Е.Д.Воейковой, то в начале 1924 года жил он уже в Китае.

Если литературный Владивосток во многих отношениях мог считать себя хоть и провинциальной, но столицей, — то литературный Харбин 1920-х годов был еще неким постоянным двором, куда одни стремились, но откуда другие тоже стремились убраться подальше. Первые поэтические сборники, выходившие в 1918 — 1923 годах, пого-

ды не сделали: большинство их авторов (Сергей Алымов, Венедикт Март, Федор Камышнюк) возвратились в СССР или пустились на поиски лучшей участи в самые дальние края (Николай Алл, Таисия Баженова). Остальные поэты 1920-х годов с «доэмигрантским» стажем в Китае пребывали в почти полной безвестности – талантливейший Евгений Яшнов (1881–1943), живший литературными заработками с 1899 года; Александра Серебренникова (1883–1975); больше известная слабыми переводами из китайской поэзии, наконец, старейшим среди них был Яков Аракин (1878–1949), печатавшийся с 1906 года, но в Харбине никем всерьез не принимавшийся. Один Василий Логинов (1891–1945/6), печатавшийся с 1908 года, мог бы восприниматься всерьез, если бы у этого запоздалого наследника музыки Гумилева было больше поэтического таланта. В этом ряду фигуры Всеволода Ник. Иванова, Арсения Несмелова, Леонида Ещина – офицеров царской и колчаковской армий – смотрелись весьма серьезно. Дороги в СССР для них не было, уезжать же из Харбина, хоть и совершенно провинциального, но все-таки способного прокормить литературными заработками тех, кто не знал ни единого иностранного языка, не было ни сил, ни возможности. Если бы не окончательно загубленное Ледяным походом и алкоголем здоровье – возможно, из Леонида Ещина и вырос бы действительно большой поэт, как вырос он в тех же условиях из Арсения Несмелова (а ведь Ещин был на восемь лет моложе!). Однако жизнь сложилась так, как сложилась. В рассказе «Голубое одеяло» Арсений Несмелов подробно рисует быт последних лет жизни Ещина. Правда, тот, почти замерзая на харбинской улице по дороге в свою трущобу, декламирует Вийона... в переводе Несмелова, хотя Несмелов и не говорит прямо – чьи это переводы. Но характерно, что декламирует он именно «Балладу о повешенных» с рефреном – «Молитесь, чтобы

Бог простил всех нас!..». К сожалению, Ещин не переведил Вийона, а жил жизнью Вийона в ее самом легендарном, «нищенском» варианте.

В уже цитированной статье Несмелова, написанной к годовщине смерти Ещина, есть слова и о последних годах его жизни в Харбине:

«Было бы несправедливо сказать, что Харбин оставался равнодушным к горемычности судьбы Ещина. Его ценили, даже, пожалуй, любили, он всегда имел работу, когда этого хотел. Когда Ещин заболел, его не бросали на произвол судьбы, о нем заботились, как могли, помещали в больницу, собирали ему деньги на первые недели жизни после выздоровления. И так бывало не один раз.

И все-таки за несколько дней до смерти Ещин оказался в лачуге какого-то корейца, откуда поэта отправили умирать в больницу. Нищета, в которой Ещин жил в последние недели, была поистине ужасна: новые «друзья», к которым он ушел незадолго до смерти, использовав его, насколько можно использовать совершенно больного человека, затем отвернулись от него. Газетная же шумиха, поднятая советской смертью вокруг смерти Ещина, видимо, была нужна советской колонии для каких-то особых целей».

Немногие публикации в харбинских изданиях, под которыми действительно проставлено «Леонид Ещин», обнаружены в изданиях 1925 — 1930 годов, и их на удивление мало: конечно, периодика этих лет тоже плохо сохранилась, куда хуже, чем более поздняя, — но не настолько же, чтобы за эти пять лет оказалось напечатано всего десять стихотворений. Стараниями Ольги Бакич и Вадима Крейда мы имеем возможность перепечатать хотя бы их.

Но основное, что сбереглось от этих лет, сохранила в своем архиве именно Е. Д. Воейкова, продолжала хранить ее дочь, Н. И. Ильина, и еще тридцать пять лет ждали сво-

ей очереди стихи в виде копий, сделанных мною в юности. Два стихотворения удалось поместить в «Русскую поэзию Китая» (М., 2001) — «Про Москву» и «И опять в беспредельную синь...». Остальное печатается в нашей книге впервые.

14 июля 1930 года Ещина не стало — кто знает, почему и как. Амир Хисамутдинов пишет в своем справочнике, что он покончил жизнь самоубийством. При всем уважении к Амиру Александровичу, всё же хотелось бы узнать источник этой информации. Не по силам одному человеку всё знать и всё проверить — в той же статье Хисамутдинов называет полковника Перхурова генералом. Может быть, и впрямь покончил с собой, много ли поводов к такому поступку нужно человеку с перепоя? А может быть — просто сердце не выдержало? А может быть — что-то и впрямь стоит за иносказаниями Несмелова о «газетной шумихе, поднятой советской прессой»? Для литературы все это уже не играет роли.

Многое неизвестно. Многое даже как-то найти боишься. Например, известно, что харбинский эстрадный артист Миша Родненький написал на стихи Леонида Ещина романс «Московские встречи», даже ноты опубликованы. И в архиве Е. Д. Воейковой многое оказалось всего лишь альбомными набросками. Словом, всего не найти, а если найдешь всё — не хочется попасть в разряд открывателей тех произведений, о которых потомки только и скажут, что эти стихи «к сожалению, сохранились».

Гарантирован долгий интерес к Ещину еще вот почему: кроме процитированного выше отрывка из неоконченного романа Несмелова, он — герой нескольких его рассказов, по крайней мере два из них сейчас у меня в руках — «Чудесный подарок» и «Голубое одеяло». Если учесть, что Несмелов был не только большим поэтом, но и незаурядным новеллистом, забвение его герою не грозит: «Тында

рында!», «Я ваша тетя!» — похоже, в обиходной речи Ещин и не ругался даже, а пользовался этими присловьями. Словом, перед нами уже происходит раздвоение персонажа на собственно поэта Леонида Ещина и на литературного героя с тем же именем и фамилией.

Место Ещина и в русской поэзии, и в поэзии Белой Гвардии, и — особенно — в русской поэзии Китая уже определено, и «закрыть» поэта больше не удастся. Именно он первым из тех, кто оказался в Китае без надежды вновь увидеть Россию, написал те пронзительные строки о любви к «Стране, хранимой драконами», которые вынесены в эпиграф и которые на первый взгляд кажутся такими непонятными.

А что там, собственно говоря, непонятного?

«Фанза» — дом, крыша над головой.

«Курма» — самая простая полотняная одежда в Китае.

«Чифан» — тут, конечно, не совсем китайское слово, скорее русско-китайский арготизм, но смысл у него один: еда.

Всего лишь о крыше над головой, одежде и пище просил, молясь под иконами в Китае, русский поэт Леонид Ещин. О человеческой памяти он и не мечтал: как подобает действительно значительному поэту, он о бессмертии не думал.

Евгений Витковский

СОДЕРЖАНИЕ

«СТИХИ ТАЕЖНОГО ПОХОДА»

Владивосток, 1921

«СТИХИ ТАЕЖНОГО ПОХОДА»

I. «Скрипя ползли обозы – черви...»	3
II. Ижевцы отходят	4
III. «На западе розовом, как детство...»	5
IV. «Конец заснеженных полей...»	6
V. Зарево	7
VI. Таежная понужательница	7
VII. Вроде танки	8
VIII. Праздник	9

«ВРЕМЕН БЕЗВРЕМЕННОГО ГОДА»

IX. Весна без радости	10
X. Траурный вальс	11
XI. Забайкальский поход	11
XII. Случай в походе	12
XIII. Осень без скорби	13
XIV. Зима без крова	13
XV. Год в походе	14

MORITURI

I. До-диез	16
II. Ми-минор	17
III. De Profundis	17
IV. «Когда хромым, неверным шагом...»	18

ПРИЖИЗНЕННЫЕ И ПОСМЕРТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПЕРИОДИКЕ

Таежный поход	20
Поняла	22
Ямаджи	23
Фокстрот	24
Маята. <i>Фрагмент поэмы</i>	25
Маята. <i>Эскиз поэмы</i>	27
В ожерельи огней	28
Беженец	30
Мимо	30
Две шинели	31

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ АРХИВА

Е. Д. ВОЕЙКОВОЙ

Сумасшедшая поэма (I-VI)	34
«Мне неловко и с ними и с вами...»	42
Про Москву	44
Сумбур	46

Победа	47
Видел	47
Голубятня	48
«Калитка всхлипнет на петлях...»	49
«Угрюмый день молчал, смотря на небо...»	50
«Я не хотел, не ждал любить...»	51
«И опять в беспредельную синь...»	52

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ АЛЬБОМА

Е. Д. ВОЕЙКОВОЙ:

Екатерина. <i>Сонет</i>	54
Сломанный экспромт	55
<i>Е. Витковский.</i> «Спи спокойно, кротчайший Лёнька!...»	56

Ещин Л. Е.

E97 Собрание стихотворений. – М.: Водолей Publishers, 2005. – 80 с. (Малый Серебряный век).

ISBN 5-902312-47-7

Участник Первой мировой и Гражданской войн, офицер армии А. В. Колчака Леонид Ещин (1897-1930) сочинял стихи в условиях Ледового похода – отступления к Приморью. Записал и издал он их лишь в 1921 году во Владивостоке («Стихи таежного похода»). Позднее Ещин жил в Харбине, где и погиб в нищете, оставив распыленные в периодике стихи и небольшой рукописный архив. В книгу вошли все выявленные стихотворения поэта.

ББК 84Р7-5

Ещин Леонид Евсеевич
Собрание стихотворений

Литературно-художественное издание

Технический редактор А. Ильина
Корректор В. Резвый

Подписано в печать 14.04.05. Формат 60x90/32
Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль
Печать офсетная. Печ. л. 2,5
Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б
тел. (095) 676-30-84. E-mail: agathon@humanus.ru

Отпечатано в ИПП «Гриф и К°»,
г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а